

# МУЗЫКА ПОД НАДЗОРОМ ГЕНЕРАЛОВ

Глава из книги<sup>1</sup>

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. НЕБЫВАЛЬЩИНА

Неуемная страсть писателя Владимира Набокова к каламбурам, литературным мистификациям и тому подобным изобретениям общеизвестна. Говорят, что собран целый словарь словесных придумок Набокова. И что он постоянно пополняется. Лукавое разнообразие, многоцветье и манящая загадочность, которыми пестрят романы, повести, рассказы и эссе Набокова, сравнимы разве что с невестами гоголевского Ивана Федоровича Шпоньки, которые, призывно подмигивая, выглядывали из его карманов или висели на ветках яблонь в саду его тетушки. Смех смехом, но вряд ли найдется читатель или критик, который бы не поддался на этот вызов Набокова и, едва закрыв книгу, не попытался бы угадать, не таится ли что-то за той или иной тронувшей его воображение проделкой Набокова. И — не бросался бы к словарям, умным книгам и трактатам. Я знаю от многих историков литературы, текстологов, библиографов, какие открытия им удалось совершить в эпоху триумфального «возвращения» Набокова на родину, когда возникла целая наука — набоковедение...

В одном из летних номеров «Нового журнала» за 1947 год Набоков опубликовал стихотворение под названием «К кн. С. М. Качурину («Качурин, твой совет я принял...»)). В нем автор рассказывает о своей поездке в большевистскую Россию, в Ленинград: якобы шатается там в толпе советских людей на берегах Невы, у Ростральных колонн, Медного всадника. Подано все красочно, реально и зримо: как не поверить. И народ «клюнул». Слух пошел! И был услышан: некоторые приняли эту шутку за чистую монету. Другие недоумевали, но — верили на слово...

И все-таки это было так не похоже на Набокова: все знали его отношение к навсегда покинутой и поруганной России. И слушок быстро заглох... Я даже боюсь вообразить, какой шедевр мог бы выйти из-под пера зоркого, ироничного Набокова, случись его тайный визит на Большую Морскую и в Рождествено в реальности...

1993 год, многоэтажная, разноликая, разноцветная Америка накануне Рождества, Нью-Йорк. Самый что ни на есть холодный, метельный, пепельный конец декабря. Я в гостях у профессора русской литературы Марины Викторовны Летковской, кухни В. В., в ее маленькой квартире на девятнадцатом этаже на самом отшибе Манхэттена. Долгая беседа, скромная гостиная, икона в красном углу, скатерка с русской вышивкой, коричневый абажур, чуть ли не из ДЛТ, с вытертой бахромой, скромный чай с петушком, печенье «Мария»... И мои вопросы, вопросы, вопросы: о Набокове, его матери, отце, бабушке, о Вере Евсеевне, Дмитриии, о внуках — обо всем! Мы оба немного устали. И Марина Викторовна решила поменять тему

---

<sup>1</sup> Старые друзья и новая музыка». Перевод с английского и примечания М. А. Ямщикова.

и принялась подробно, живо рассказывать о своей последней поездке в Ленинград, на конференцию в Пушкинский Дом: тут и Исаакий, и Медный всадник, и Нева, и Зимняя канавка — все те места, где жили, гуляли, встречали гостей и откуда уехали навсегда ее дедушка и красавица бабушка, Елена Ивановна; потом достала из шкафчика под столом альбом фотографий той своей поездки...

Я, осмелев, перебил Марину Викторовну и спросил: правда ли, что ее дядя, Владимир Владимирович, посетил инкогнито Ленинград сразу после войны и видел те же места, что и она, и даже ездил в Рождественно... Она оживилась (крепкая, стройная, красивая немолодая женщина), сверкнула глазами и, волнуясь, сказала, что это все из-за того стихотворения дяди Володи к какому-то русскому князю... А вообще, продолжала она, та история не стоит ломаного гроша от начала до конца, и прямо беда, что многие люди поверили в чушь, что, мол, «дядя Володя» был переодет не священником, как в стихотворении, а американским полковником, почти не говорившим по-русски, и что однажды он чуть себя не выдал чекистам, пытаясь купить билет на поезд в Сиверскую за доллары... И вдруг добавила (от чего я чуть не подпрыгнул), что все в том стихотворении взято умышленно дядей Володей из рассказов ее любимого дяди Коли, кузена Николаса Набокова. И что дядя Коля, композитор, и впрямь был с русскими гражданскими и генералами в 1945 году в Берлине на самой короткой ноге. И что это он был в чине американского полковника и по долгу службы постоянно, чуть ли не целых полтора года (с мая 1945-го), жил при русской военной резиденции в Берлине. Более того, свой военный френч и награды он хранил и иногда красовался в нем перед семьей, и, конечно, дядя Володя все это видел и знал. Да и жили они неподалеку... Дядя Коля и после войны сохранил дружбу со многими генералами и полковниками, с которыми тянул лямку по разделению Германии на зоны... И они даже потом частенько приглашали его в Москву и в Ленинград — уже просто как друга и музыканта, родившегося в России. «Я ему дважды отсоветовала сама, — продолжала она, — теперь жалею, но, кажется, он все же ездил в свою Ловчу... Может, то стихотворение было написано дядей Володей от зависти?» И тут же рукой, жестом отмела предположение. «А вообще-то, — вновь заговорила Марина Викторовна, — про работу дяди Коли в американской военной миссии есть целая глава в его книге о музыке и музыкантах, которую у вас почему-то не знают и не переводят, наверное, потому, что в ней почти не упоминается писатель Владимир Набоков». Через минуту я уже держал в руках книгу Николая Набокова «Старые друзья и новая музыка».

Готовя для публикации очередную главу из нее, ту самую — про генералов и 1945 год, что теперь перед вами, я среди массы имен американских и русских вояк наткнулся на фамилию советского полковника Сергея Ивановича Тюльпанова, из Ленинграда. Ба! да я же знал его, в гостях бывал — чай гонял... Быстро лезу в нижний ящик стола и в старой записной книжке нахожу: Тюльпанов С. И., генерал в отставке, университет, кафедра политэкономии; Лесное, Институтский переулок, д. 18, кв. 1, первый этаж... И телефон.

И тут из памяти всплыла застрявшая в ней давняя картина: голый шаровидный череп, склоненный под постоянно горевшей (днем и вечером) настольной лампой с абажуром, в окне первого этажа старинного особняка в Лесном. Он торчал у меня перед глазами всякий раз, когда я приходил в квартиру к своими старшим друзьям — профессору Лесотехнической академии, писателю-охотоведу А. А. Ливеровскому и его жене Елене Витальевне (мы дружили семьями более 20 лет).

Я даже взял за привычку, проходя мимо, мысленно, для порядка здороваться с этой головой. И вот однажды, когда любопытство достигло предела, я решился спросить у друзей, что это за чудак торчит у окна целыми днями.

Оказалось, что лысая голова принадлежит генералу в отставке, профессору, заведующему кафедрой политэкономии университета Сергею Ивановичу Тюльпанову, поселившемуся в их доме еще до войны, в пору работы преподавателем химии в Лесотехнической академии. Он меломан, знаток европейской живописи, переводчик Гёте и Шиллера. Крестьянский сын, из раскулаченных, рабфаковец, по матери латыш, беспризорник, красноармеец в Гражданскую, в наше время дошел до генерала. Но генерал не боевой, а контрразведчик. Сейчас пишет мемуары, принимает аспирантов, составляет программы для студентов; труженик; не затворник, создал «школу» политэкономии. Во время моих трех интереснейших встреч с Сергеем Ивановичем у него дома упоминалось великое множество имен политиков и военных самого разного калибра и званий. Как немецких: В. Пик, В. Ульбрихт (соседи рассказали, что Вальтер Ульбрихт был его самым близким другом, встречались «по-домашнему», приезжал к нему в переулок во время своих официальных визитов в СССР). Так и наших: Жуков, Чуйков, Жданов, Суслов, Берия. И естественно, много ученых, музыкантов, художников, поэтов...

**Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ**

## ГЛАВА 12. МУЗЫКА ПОД НАДЗОРОМ ГЕНЕРАЛОВ

«Мистер Набикалф, мистер Набикалф, торопитесь, мы опаздываем, — раздался снизу голос Блинтца. — Уже половина пятого». («*Es ist schon nach halb vier*», нем.). «Черт бы побрал этого немца и его скрипучий голос», — проворчал я, протирая мои «pinks» бензином из зажигалки, пытаюсь удалить большое пятно и вместо этого образовав еще больший круг вокруг него. Я бросил «пинки» обратно в стенной шкаф, подхватил «olives»<sup>2</sup>, слегка почистил и, застегивая мундир, устремился вниз по лестнице. Блинтц, спокойный солдат (GI — джи-ай, американский военнотруженик) родом из Гамбурга, стоял внизу лестницы и покачивал головой.

«Всегда опаздываем, всегда опаздываем», — бормотал он, когда мы шли к садовым воротам. «Если бы *Koernel* (полковник, нем.) Никольсон был там» («*Wenn der Koernel Nicholson da waere...*») — он перешел на немецкий.

«О, перестаньте ворчать, Блинтц, — перебил я его, — и, ради бога, почему вы не говорите по-английски?»

С надутым видом он уселся на место водителя изношенного «форда-седана», нашей так называемой «штабной машины». «Это не я собираюсь в оперу, — начал он ворчать снова, когда мы поехали по направлению к улице Королевы Луизы (Koenigen Luisen Strasse), — вы сами знаете, как долго добираться до русского сектора; *кроме того (ausserdem, нем.)*, мы должны подхватить двоих *Koernels* (полковников, нем.) и господина майора Боровского». Блинтц был надутым с тех пор, как мой друг «Koernel» Никольсон и я получили его в наследство от генерала. Он искорежил генеральский «суперлюкс, с левым рулем, модернизированный O. W. I. P. W.» бьюик и теперь, пониженный в статусе, возил какого-то «Koernel» и какого-то «штатского»<sup>3</sup>, то есть меня. «И что такое (*Und was ist*) штатский в армии? — бывало, спрашивал он риторически. — *Дрянь! (Dreck — грязь, сор, дрянь, нем.)* Хуже, чем Т/4!»

Мы остановились, чтобы подхватить «Koernels», но они уже уехали с генералом, а у «герра» майора Боровского болела голова после выпитого. «Кроме того, — сказал он, — какого дьявола мне нужно ехать и высидывать какую-то оперу!» Мы

<sup>2</sup> Olives — форма цвета хаки.

<sup>3</sup> В тексте *ciflian*, правильно *civilian* — штатский (англ.).

поехали в сторону серых сводчатых галерей разрушенной центральной радиостанции и повернули на главную магистраль, ведущую с запада прямо в русское сердце Берлина. Я посмотрел на часы. Было 4:05. Опера начиналась в 4:30. Времени достаточно, подумал я, но Блинтц продолжал ворчать. «Вы знаете, как это бывает с русскими (*mit die Russen*, нем.), — сказал он, — они не умеют управлять уличным движением»<sup>4</sup>. А сегодня там будут все генералы: наши, английские, французские. Мы наверняка опоздаем. Мы въехали в пустую аллею Бисмарка мимо недавно расчищенных куч щебня и добрались до Тиргартена<sup>5</sup>, берлинского парка, когда-то пышного и тенистого, а теперь превращенного в голый пустырь.

«Как быстро они справились с этим», — подумал я, глядя на мокрый ствол дерева, который волокли две растрепанные женщины. Только два месяца назад союзники милостиво согласились на просьбу бургомистра и разрешили берлинцам спиливать то, что осталось от их большого парка. Теперь он был весь очищен, деревья вывезены, парк пожрали маленькие железные печки в замызганных прихожих и сырых кухнях. Тиргартен стал похож на пустой морг под низкими зимними облаками.

Мы миновали колонну Победы<sup>6</sup> с французским флагом, бешено хлопающим на ветру, проехали Бранденбургские ворота и вступили в русский сектор. Здесь портрет генералиссимуса, обрамленный покрытыми мхом гирляндами и мокрыми красными флагами, стоял на страже у входа в руины Унтер-ден-Линден<sup>7</sup> — обсаженного липами проспекта. Направо высилась чудовищная пустота отеля *Адлон*<sup>8</sup>, налево простиралось сплошное море руин и щебня. Перед моим мысленным взором промелькнул вид этого места шесть месяцев назад.

...Весь проспект забит строительным мусором. Перед *Адлоном* стоят два грузовика. В кузове первого — гора меди: тубы, трубы и тромбоны, покрытые тяжелыми бухарскими коврами. На вершине ковров сидят три угрюмо глядящие солдата с монголоидными чертами лица. Их форма изорвана в клочья. Они едят хлеб. Второй грузовик — в нерабочем состоянии, на трех колесах, блокирует движение. В его кузове — тысячи непокрытых пишущих машинок, среди которых стоит мычащая корова. Два молодых русских офицера сняли четвертое колесо и под взглядами молчаливой толпы оборванных детей проверяют внутреннюю камеру шины в тазу с грязной водой...

Как только мы повернули налево на Фридрихштрассе<sup>9</sup>, то попали в ужасную дорожную пробку. Блинтц был прав. Узкий проезд в центре улицы, напоминавший извивающееся русло реки между высокими берегами из щебня, был заполнен машинами всех мастей: американские и английские штабные со звездами сзади; огромные черные лимузины «хорьх», заполненные офицерами в русской форме; джипы, военные американские автобусы, неопишуемые немецкие автомобили с кузовами «седан», крохотные «опели» и спортивные БМВ с французскими триколорами. Все они в бесконечной колонне буксовали, гудели, водители ругались на четырех различных языках. Когда мы в конце концов добрались до Винтергартена<sup>10</sup>, двор

<sup>4</sup> Блинтц неоднократно вместо *th* употребляет *d*, например, *deu*, *dere* вместо *they*, *there* и т. д.

<sup>5</sup> Улица Королевы Луизы — улица в центре Берлина, названная в честь Луизы, принцессы прусской (1800—1870). Аллея Бисмарка — улица 17 Июня с памятником первому рейхсканцлеру Отто фон Бисмарку. Тиргартен — парк в центре Берлина.

<sup>6</sup> Колонна Победы — памятник истории Германии, расположена в центре Тиргартена, на площади Звезды, открыта 2 сентября 1873 года.

<sup>7</sup> Унтер-ден-Линден («Под липами») — один из главных и наиболее известных бульваров Берлина, получил название из-за украшающих его деревьев.

<sup>8</sup> Отель «Адлон» — фешенебельный отель в центре Берлина, открыт в 1907 году, выгорел в 1945 году. Современное здание принято в эксплуатацию в 1997 году.

<sup>9</sup> Фридрихштрассе — знаменитая магистраль в центре Берлина, проходит с севера на юг.

<sup>10</sup> Винтергартен — берлинский музыкальный зал, который помещался в Прусской государственной оперной компании.

был почти пуст. Только немногие опоздавшие выпрыгивали из автомобилей и торопились ко входу. У двери два офицера в длинных серых шинелях и фуражках с синими околышами (цвета войск безопасности МВД) потребовали приглашение: «Пожалуйста... пригласительный билет?» (*Bitte sehr... Einladung?*) Я протянул большой штампованный билет с нанесенными на него золотыми серпом и молотом и корявым текстом: «Главкомандующий [С. I. С] Военных сил СССР и Главнoначальствующий [Governor — комендант] Советского военного правительства для Германии имеет честь пригласить *господина (gospodin)* Н. Набоков ...» Я пересек пустой вестибюль, и когда поднялся по плюшевой, великолепной лестнице, два молодых солдата в темно-зеленой парадной форме отдали мне честь. Зал был темным. Занавес поднят. Музыка заиграла. «Боже, — сказал я себе, узнавая вкрадчивые звуки *Мадам Баттерфляй* и вспоминая программу спектакля, — никак старая знакомая!» (not that old thing!).

Сцена, представлявшая из себя лабиринт экранов, украшенных драконами (be-dragoned screens), и бамбуковых абажуров, была сзади залита индиговым светом — от неба гавани Нагасаки. Слева на сцене, в креслах-качалках, сидели лейтенант Пинкертон (U. S. N.)<sup>11</sup> (тенор) и американский консул, м-р Шарплесс (Sharpless) (баритон). Между ними на небольшом плетеном столе стояли два стакана, графин для воды и бутылка шотландского виски Vat 69<sup>12</sup> в ведре со льдом. Высоким голосом, по-немецки (лингва-франка, язык общения, принятый в это время в Берлине) лейтенант Пинкертон пригласил м-ра Шарплесса выпить «молока (Milch, нем.), пунша или (oder, нем.) виски» и затем продолжил свою громкую удалую арию об «Американских удовольствиях (*Freuden*, нем., pleasures)» и «Американских путешествиях (*Reisen*, нем., travels)»<sup>13</sup>.

Ступая по сапогам и ботинкам, я прошел к своему месту в середине восьмого ряда. Странно освещенный светом от интерьера жилища лейтенанта Пинкертона в Нагасаки, зал представлял собой причудливое и необычное зрелище. Сотни рядов громадных яиц с нарисованными на них носами, ртами и бровями располагались поверх мерцающих погонов, цветных лацканов, грудей, украшенных лентами и медалями, в добавление к вертикальным рядам золотых пуговиц. Все застыло без движения. Со всех направлений, с каждого уровня огромного темного зала «яйца» смотрели на сцену. Это напоминало внутренность гигантского инкубатора, чудовищный питомник некоего военного властелина, при этом каждое из фантастических яиц держал в руках расфранченный манекен.

«А, вот и вы, Ник. Я чертовски рад, что вы здесь», — раздался слева от меня громкий шепот с заметным южным акцентом. Я повернулся и увидел лысый профиль генерала X, так похожего на ехидну. «Вы знакомы с полковником W, не так ли? — и он представил меня своему соседу. — Ник работает здесь для Боба Макклугра (Bob McClure) в Информационном контроле, — прошептал генерал полковнику. — Он разбирается в музыке и говорит этим фрицам (the Krauts), как с ней поступать». Он хохотнул так, что все его тело дрогнуло, и добавил: «Он сможет рассказать нам, о чем вся эта чертова чепуха (this G. D. thing, god-damn?)».

Пытаясь говорить предельно тихо, чтобы не мешать лейтенанту Пинкернтону перечислять преимущества японской женитьбы<sup>14</sup>, я начал объяснять, что дают *Ма-*

<sup>11</sup> Военно-морские силы США.

<sup>12</sup> Vat 69 — марка известного шотландского виски. Бренд основан в 1882 году шотландцем Сандерсоном.

<sup>13</sup> В тексте: «Yankee Freuden» (pleasures) and «Yankee Reisen» (travels).

<sup>14</sup> В тексте приведена фраза на немецком языке, после которой дан английский перевод: «Es kann monatlich anulie-jert werden» («Она может быть отменена в следующем месяце»).

дам *Баттерфляй*, итальянскую оперу Пуччини, сюжет которой имеет в своей основе историю, рассказанную двумя итальянцами — Лонгом и Бе...<sup>15</sup>

«Мне наплевать, кто написал эту чертову историю, — перебил генерал, — я хочу знать, кто эти два пугала и что делает этот немец, — он указал на лейтенанта Пинкертона, — в американской форме».

«Они пьют виски», — заметил сухо полковник W.

«Виски, подумать только! — сказал генерал. — Лошадиная моча. Ясное дело, немецкая лошадиная моча»<sup>16</sup>.

«Тише, хватит вам», — прошептал сердито человек в форме впереди нас. «А, это американцы!» (*Silence, s'il vous plait. Ah, ces Américains!* фр.).

«Продолжайте, плевать на французов», — сказал генерал и приблизил ухо к моим губам.

Я начал пересказывать сюжет *Мадам Баттерфляй*, и по мере того, как я продолжал, его лицо начало меняться. Из приветливого оно стало серьезным, из серьезного мрачным, из мрачного сердитым, из сердитого гневным. «Послушайте. ведь это же оскорбление! — он взорвался громким шепотом. — Вы хотите сказать, что американский офицер сделал беременной эту японскую девушку, — он указал на Чио-Чио-Сан (Cho-Cho-San), — а затем вернулся домой и женился на другой? Это возмутительно!» Его лицо стало багровым от бешенства. «Как ты считаешь, Билл?» — он повернулся к полковнику. Тот кивнул, выражение его лица стало таким же мрачным, как у генерала. «Неужели они не знают, что американский офицер, если бы сделал это, был бы отдан под военный трибунал?»

«Замолчите, пожалуйста», — сказал другой офицер хриплым шепотом с грубым русским акцентом (*Wollen Sie bitte schweigen*). Большое яйцо повернулось вокруг своей короткой коренастой талии и заметило с чувством: «Мы хотим слушать музыку», после чего повернулось обратно, что сопровождалось звоном медалей («*Wir wollen Musik horen*», нем.).

«О, черт возьми», — пробормотал генерал. Он отвернулся от сцены и перестал смотреть на нее. Мы сидели остаток акта в неловком, застывшем молчании. Только к концу, когда после обильного слезливого пения и небрежных поцелуев и объятий Пинкертона и Чио-Чио-Сан собрались удалиться в так называемую «свадебную комнату», генерал снова взглянул на сцену. «Почему эти чертовы с... сыны... (G. D. S. O. B. 's)»<sup>17</sup> — пробурчал он, в то время как занавес стал опускаться и несколько тысяч армейских ладоней начали хлопать, производя шквал аплодисментов.

Я незаметно быстро улизнул, прежде чем загорелся свет, но мой сосед успел заметить мое исчезновение. Я поспешил наверх, к ломам, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы спрятать меня в своей ложе. Но ни одного знакомого не нашел. Густая толпа медленно двигалась вниз по лестнице по направлению к фойе. Я последовал за ней. Спускаясь по лестнице, я обнаружил небольшую боковую дверь и выскользнул наружу.

Большие снежные хлопья медленно мелькали в свете кривого фонарного столба. Группы союзных военных стояли вокруг него, курия и разговаривая приглушенными голосами. За фонарным столбом было темно и тихо. Я пошел в темноту по направлению к улице. Повернул направо и двинулся через жидкую грязь к Шпрее<sup>18</sup>. Там, около отсутствующего моста, при тусклом свете фонаря попытался закурить. Увидел

<sup>15</sup> Опера Джакомо Пуччини, либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы, по мотивам драмы Давида Беласко, которая является обработкой новеллы Джона Лютера Лонга.

<sup>16</sup> Приведенное в тексте *orse-piss* — сокращение от *horse-piss*, что переводится как *слабое вино*, точнее — *бурда*.

<sup>17</sup> G. D. S. O. B. — *god damn son of a bitch*.

<sup>18</sup> Шпрее — судоходная река, часть водного пути Эльба—Одер.

надпись на четырех языках: ОБЪЕЗД, МОСТ ВЗОРВАН; VORSICHT, BRUCKE GESPRENGT; ATTENTION, PONT SAUTE; STOP, BRIDGE OUT. Спички отсырели и не зажигались. Я просто постоял некоторое время в тишине вечера, дыша холодным, промозглым воздухом, отравленным отвратительным запахом распада. Когда я повернул обратно, какая-то фигура вынырнула из темноты и подобрала сигарету, которую я бросил.

Я выругался, вернувшись к театру и обнаружив, что антракт все еще продолжается. «Теперь он увидит меня, и я не смогу отвязаться от него». Я стоял снаружи и ждал, но звонок прозвенел, и последние курильщики поспешили в фойе. Я последовал за ними и, подталкиваемый идущими, направился к входу в оркестровые места. Я почти проскользнул внутрь театра, когда знакомый голос закричал: «Он здесь», — и генерал потащил меня за рукав в коридор. «Где вы были? — спросил раздраженно генерал Х. — Мы с Биллом нигде не могли вас найти! Вы исчезли среди этих русских. Пошли, мне нужно поговорить с вами». Он отвел меня в пустой угол коридора. «Скажите, Ник, — начал он, — вы знали об этой чертовщине, — и он указал в направлении театра, — прежде, чем пришли сюда сегодня вечером?» Я ответил, что знал; это было напечатано на приглашении. «Вы хотите сказать, что *знали* об этом! — воскликнул он. — Вы знали, что *они* собираются разрешить этим фрицам (the Krauts) надеть американскую форму и проделать весь этот... оскорбительный... клеветнический вздор! И вы ничего *не сделали!* Вы не протестовали?»

Я объяснил, что полагал, что не было ничего, против чего нужно было протестовать. «Кроме всего прочего, генерал, — сказал я самым успокаивающим тоном, каким только мог, — *Мадам Баттерфляй* поставлена в Нью-Йорке, в Мет<sup>19</sup>, и повсеместно в Соединенных Штатах. Это известная опера... это классика... эта музыка известна...»

«Я знаю, я знаю, — прервал он, — я слышал, что наш оркестр играл эту чертову музыку в Форт-Уэрт<sup>20</sup>, и при этом лучше, чем эти немцы. Я говорю не об этой музыке. Я говорю об *этой пьесе*. Я хочу сказать, что эти омерзительные ублюдки поставили ее специально. Это рассчитанное оскорбление Америке и ее вооруженным силам. Мы *должны* протестовать. Ты так не думаешь, Билл?» — он повернулся к полковнику. Тренированные жевательной резинкой «Ригли»<sup>21</sup> челюсти полковника двигались в молчаливом согласии. «Если вы позволите этим русским остаться безнаказанными, — продолжал генерал, — вы скоро будете иметь их... они скоро будут... они скоро будут иметь нас... » И, не найдя подходящих слов, он в гневе повернулся ко мне и стал потрясать пальцем: «Я собираюсь звонить Бобу Макклору (Bob McClure) и предложить ему завтра же подать протест и требовать извинений». Он надел фуражку, застегнул на все пуговицы мундир и двинулся к лестнице. «И если Боб Макклур ничего не сделает с этим, — рявкнул он, — я обращусь к Люсиусу Клею (Lucius Clay)».<sup>22</sup>

## ПРОБЕЛ В ТЕКСТЕ

Да, зимой 1945–1946 годов музыкальная жизнь в Берлине была действительно сложной. Но она была едва ли лучше, чем где-нибудь в Германии в первые

<sup>19</sup> Метрополитен-опера.

<sup>20</sup> Fort Worth — город в США, часть мегаполиса Даллас-Форт-Уэст.

<sup>21</sup> Wrigley — американская компания, известный производитель жевательной резинки и кондитерских изделий. Основана в 1891 году.

<sup>22</sup> Клей, Люсиус (Lucius Clay) — (1897–1978) — американский генерал, глава администрации американской зоны оккупации послевоенной Германии.

месяцы оккупации. Берлин был только центром катастрофы, которую генералы унаследовали от *гауляйтеров*<sup>23</sup> (*Gauleiters*, нем) после разрушительной работы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Англии и после Ялтинских соглашений. Берлин был только *более* коррумпированным, *более* нездоровым, *более* испорченным местом, чем остальная Германия, и его очевидная болезненность была более очевидной, потому что он стал местом нахождения самого бессильного правительства в мире, неэффективного, неуклюжего и абсурдного.

Когда я прибыл в Берлин в августе 1945 года, союзники разделили музыкальных немцев между собой и контролировали их активность с различной степенью строгости и поддержки. Три больших организации, в которых звучала музыка — Государственная опера, Берлинская муниципальная опера и Филармонический оркестр, — отошли, соответственно, к русским, англичанам и американцам (появились *их* немцы, *ваши* немцы и *наши* немцы). Французы, опоздавшие на церемонию раздачи призов, не получили ничего. Им пришлось соглашаться на случайные подарки других союзников, в виде или концертов Филармонического оркестра в их части пространных берлинский руин, или в виде временного использования дома Муниципальной или Государственной оперы для представлений «Комеди Франсэз»<sup>24</sup> (*Comedie Francaise*, фр.) или оркестра консерватории.

Контроль за немецкой музыкой со стороны американских генералов был на первый взгляд достаточно разумным. Он был основан на принципе, хорошо выраженном покойным королем Саксонии<sup>25</sup>, который, отрекаясь от престола, обратился к делегатам Конституциональной ассамблеи со словами: «Теперь вы можете сами делать все свои гадости».

Официально предполагалось, что мы имели дело только со следующим:

Изгонять из немецкой музыкальной жизни нацистов и давать разрешение заниматься музыкой только тем немецким музыкантам (давая им право заниматься своей профессиональной деятельностью), кого мы считали «чистыми» немцами.

Контролировать программы немецких концертов и проверять, чтобы они не превращались в националистические манифестации.

Охранять и защищать те «памятники» и «сокровища» германской культуры, которые вследствие победы попали в наши руки.

Предполагалось, что все остальное оставлено на усмотрение самих немцев и не является делом офицеров Музыкального контрольного отдела Информационного контрольного отделения Военного правительства Соединенных Штатов для Германии. Считалось, что функции этого отдела исполнял я, как один из советников генерала Макклера на «четырёхстороннем уровне», если использовать берлинский жаргон того времени. Конечно, подобно большинству политик, наша была далека от реальности. Хотя мы успешно поохотились за нацистами и запретили деятельность нескольких известных композиторов, пианистов, певцов и оркестровых музыкантов (большинство из которых вполне заслужили это, а некоторым и сегодня<sup>26</sup> следовало бы оставаться под запретом), эта охота, как она замышлялась нашей политикой, заполнила бы только малую часть времени усердных, полных энтузиазма молодых американцев в униформе — офицеров музыкального контроля по всей нашей зоне Германии (большинство из них были в граждан-

<sup>23</sup> Гауляйтер — высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня.

<sup>24</sup> «Комеди Франсэз» — единственный во Франции репертуарный театр, финансируемый правительством. Основан в 1680 году.

<sup>25</sup> Король Саксонии отрекся от престола в 1918 году.

<sup>26</sup> То есть в 1947 году, когда была написана книга.

ской жизни профессиональными музыкантами или серьезными любителями музыки), которые пытались помочь немцам восстановить подобие, крохотную часть культуры на руинах двенадцатилетнего нацистского *рейха* (Nazi Reich, нем.).

Неофициально же нам приходилось подыскивать залы и дома для работы оркестров и консерваторий, для исполнения опер, находить уголь, чтобы обогревать эти дома, лампочки, чтобы освещать их, инструменты для оркестров, еду для музыкантов. При этом вопросы, возникавшие на штабных совещаниях, включали такие деликатные проблемы, как, например, заслуживает ли тромбонист паек с большим количеством калорий, чем музыкант-струнный, то есть необходимо ли больше калорий, чтобы дуть в тромбон, чем водить смычком по контрабасу. Разбомбленные оркестровые библиотеки нуждались в партиях (инструментов) и партитурах; композиторы — в нотной бумаге и чернилах; оперные театры — в актерах и костюмах; и каждый нуждался в жилище, еде и топливе. К счастью, «наш» генерал был одним из очень хороших генералов: он поддерживал работу своих офицеров и позволял им делать тысячу и одну тяжелых текущих работ, необходимых для того, чтобы все шло как надо. Он боролся со своими начальниками против узости и близорукости нашей политики, ему досталось забот в том прибежище отчаяния, каким был Берлин в 1945–1946 годах.

Советский курс отличался от нашего. Проблема «чистых рук» по отношению к нацистам и коллаборационистам не волновала русских. В самом начале они поместили тысячи нацистов в лагеря МВД, похитили и убили других, в то же время подвергнув Берлин и другие немецкие города чудовищному средневековому разграблению, но когда все было кончено, начали использовать нацистов (нацистских дирижеров, артистов и певцов), когда бы и где бы ни находили это полезным. Поверхностно они соглашались с нами в необходимости денацификации, но, как и в большинстве других случаев «четырёхсторонних соглашений», не принимали во внимание их полностью всегда, когда считали, что соглашения препятствуют их независимой политике по отношению к Германии.

Публично по отношению к немцам они начали с самого начала играть роль покровителей немецкого искусства, немецкой музыки и немецкой культуры, и, как следствие этой пропагандистской *Kulturtraegertum* (несения знамени культуры, распространения культуры, нем.), начали сначала тайно, а затем открыто сурово осуждать американцев и англичан за подавление немецкой культуры, тыча указующим перстом в нашу «политику предоставления свободы действий». В то время как мы стояли в стороне, русские грубо запугивали немцев, говорили им, что надо делать и как делать, приказывали им возобновлять оперные и балетные постановки в невероятные короткие сроки, говорили им, что играть и что не играть, заставляли присоединиться к Социалистическому Союзу или Коммунистической партии под угрозой потерять работу или соблазняя получением лучшего нормированного продовольствия. Русские власти представляли немцам в качестве высочайших примеров великой советской культуры русские хоры, ансамбли танцоров, певцов и виртуозов-исполнителей, привлекаемых для развлечения советских оккупационных войск и чиновников их военного правительства.

Эти «закрытые» концерты для советских военных, проводимые привозными русскими артистами, были любопытными мероприятиями, отражающими средние русские вкусы, и поэтому посещение их представляло несомненный интерес. Я не раз бывал на них, когда меня приглашали мои «коллеги» из советского военного правительства (в их числе майор Дымшиц, м-р Фартучный и генерал Попов). Однажды, после одного из концертов, эти джентльмены взяли меня в своего рода клуб молодых офицеров в Карлсруэ, в северной части Берлина. Там располагалась

штаб-квартира Советской военной администрации. Кроме моих советских «коллег» (opposite numbers, O. N.), на этой встрече были и другие советские граждане — русские артисты и актеры, как мужчины, так и женщины, военные и гражданские.

Концерт был длинным и скучным. Он начался выступлением известного русского тенора Козловского<sup>27</sup>, который спел две популярные арии из *Евгения Онегина*, *Песню Индийского гостя* из *Садко* и несколько романсов Чайковского, Глинки, Аренского и Рахманинова. Голос был несильный, но приятный. Подобно голосам многих русских теноров, он отличался сердечным лиризмом. Певец переключался с глубокого тона на мягкий фальцет с легкостью и изяществом. Он контролировал дыхание, которое было совершенно неслышно. Динамика была плавной, и интонация превосходна; но... интерпретация! Ужасный провинциальный вкус в манере исполнения, слащавая старомодная сентиментальность, напоминавшая худшие манеры американского эстрадного певца на радио. После каждого из номеров публика аплодировала и громко его приветствовала. Лица людей покраснели, глаза увлажнились. Коренастые, напомаженные, невысокие полковники и их упитанные, имеющие вполне буржуазный вид жены, в довоенных вечерних платьях, массивные броши которых удерживали V-образные декольте от выпадения наружу пышных бюстов (from bursting out under the heavy milk-farm equipment), вскочили на ноги, выкрикивали названия известных русских песен, которые они хотели услышать, и скандировали: «Би-ис... Би-ис... Би-ис». Козловский многократно пел на бис, что каждый раз сопровождалось теми же криками восторга и аплодисментами, пока наконец после того, как он показал жестом невозможность продолжения, публика не отпустила его.

Во время следующих двух номеров программы, *Второго струнного квартета* Бородина и скучноватого (оозу) *Анданте кантабиле* Чайковского, исполненных известным Московским бетховенским струнным квартетом, публика сидела в уважительном, хотя и невнимательном молчании. Люди выглядели слегка скучающими и нетерпеливыми; и когда я смотрел на мясистые лица мужчин и присыпанные тальком лица женщин, они казались мне такими скучными, такими пресными, такими провинциальными и такими ужасно мещанскими. Следующим номером было выступление некой женщины-пианистки внушительных размеров (cubical). (Я забыл ее имя, но, должно быть, она была хорошо известна; ее приветствовали шумными аплодисментами.) Она сыграла *Двенадцатую венгерскую рапсодию* Листа, два часто исполняемых ноктюрна Шопена и болезненно скучную *Полишинель*<sup>28</sup> Рахманинова.

После долгого-долгого перерыва вновь появился Козловский и исполнил для нас еще некоторое количество всего того же (stuff), что он спел прежде. Он завершил свое выступление несколькими веселыми и лихими псевдорусскими псевдонародными песнями. Затем появилась группа украинских певцов и танцоров в национальных костюмах и головных уборах; они проделали все то, что, как предполагается, украинские певцы и танцоры проделывают на сцене любого театра, концертного зала или кабаре. Танцоры-мужчины перемещались в беспорядке (kicked about) по полу, сидя на корточках, окруженные стайкой подпрыгивающих девушек, которые двигались зигзагами между ними, размахивая цветными платками. Хор, стоявший полукругом за ними, громко пел и хлопал в ладоши под брэнчание трех бандуристов. Последним и самым длительным номером программы было выступление известного и превосходного хора Красной армии. Армейские певцы начали с русских сентиментальных песен (Russian sentimentalia) (стиль исполнения

<sup>27</sup> Козловский И. С. (1900–1993) — советский оперный и камерный певец, режиссер, лирический тенор.

<sup>28</sup> «Полишинель» — одна из пьес-фантазий для фортепиано, сочиненных С. В. Рахманиновым в 1892 году.

которых по духу, риторике (period) и характерным чертам (quality) был сродни стилю американской барбершопианы)<sup>29</sup>, затем переключились на три-четыре старые патриотические песни времен покойных императоров Александра III и Николая II. И завершили выступление «блестящим истолкованием (исполнением)», как сказала бы *Нью-Йорк таймс*, трех прославленных патриотических советских песен последней войны: *Широка страна моя родная*, *Песня красных пионеров* и неизбежной *Песней красной кавалерии* с глухим цокотом лошадиных копыт в качестве фона<sup>30</sup>.

В течение всего этого вечера я вспоминал программу и атмосферу «патриотических» благотворительных концертов, которые проходили в начале Первой мировой войны в большом Санкт-Петербургском цирке Чинизелли<sup>31</sup>. Звучала музыка того же типа, представление носило тот же характер, реакция публики была столь же восторженной. Действительно, параллель была так велика, что временами мне казалось, что со сцены до меня доносилось дуновение старого ностальгического циркового запаха. Казалось особенно важным (и я заметил это не в первый раз), что во время всего этого вечернего представления не было никакой новой музыки. За исключением банальных песен Красной армии, в программе не было ни одного музыкального произведения, которое не было бы написано задолго до революции 1917 года, ни одного нового имени известного советского композитора.

Мои русские коллеги (O. N.'s), в частности *культурный* майор Дымшиц (Kultur Major, нем., англ.), как немцы называли его, и некоторые другие *культурные* полковники, майоры и капитаны всегда заявляли о новых «великих мастерах» советской музыки, их «выдающихся достижениях» и их «непревзойденном гении». В комитете, в межсоюзнических собраниях и в частных разговорах они ссылались на такие работы, как *Пятая* и *Седьмая симфонии* Шостаковича, как на примеры небывало высоких стандартов советской музыки. Но все эти пылкие декларации выглядели вынужденными, высокопарными и напоминающими стиль писем к «великому Сталину», печатавшихся ежедневно на первой странице *Правды*. Только однажды я действительно видел одного из таких *культурных* молодых людей, который, казалось, был искренне тронут произведением новой советской музыки. Это случилось после первого исполнения *Пятой симфонии* Шостаковича Берлинским филармоническим оркестром (или это была *Седьмая*? Кажется, я не могу по памяти различать симфонии Шостаковича). У капитана Барского, советского офицера, стояли слезы в глазах, и в течение некоторого времени он не мог говорить. Но вскоре он снова стал излагать свое «мнение» (lesson) в наилучшем прописанном (epistolary) стиле односторонней корреспонденции *Правды*.

Когда я попал в офицерский клуб после этого концерта, то подумал, что у меня будет возможность задать несколько вопросов моим русским хозяевам и на этот раз получить откровенные ответы. Я сел за продолговатый, покрытый изношенной белой материей стол, стоявший в большом, заполненном народом дымном зале. Моими соседями за этим столом были приятно выглядевший русский капитан (я никогда не видел его раньше) и девушка в лейтенантской форме с бледным, печальным лицом и черными растрепанными волосами. С нами сидели полная пианистка и несколько других артистов вечернего представления. Мои русские коллеги с бдительными ушами и глазами сидели за другим столом, в дру-

<sup>29</sup> «Barbershop» — стиль исполнения сентиментальных баллад без аккомпанемента, возродившийся в США в XX веке.

<sup>30</sup> *Песня красных пионеров* — «Взвейтесь кострами», 1922; «Мы — красная кавалерия» (*Марш Буденного*) — муз. бр. Покрасс, сл. А. Д'Актиль, 1920.

<sup>31</sup> Чинизелли, Гаэтано (1815–1881) — основатель первого каменного стационарного цирка в России, открыт в Петербурге в 1877 году.

гом углу комнаты. После небольшого разговора я повернулся к приятно выглядевшему капитану и спросил его, почему вечерняя программа не содержала ни одной работы современного советского композитора. Понимая, что я был одним из тех русскоговорящих иностранцев (а в то время не всех таких иностранцев называли «мерзкими тварями» и «лакеями Уолл-стрита»), который хотел бы получить искреннее объяснение, он, вместо повторения официальной пропаганды, сказал совершенно откровенно: «Видите ли, нам действительно *не нравится* музыка Шостаковича и Прокофьева... Она для нас непонятна... ее язык для нас непривычен... она слишком усложненная, слишком диссонансная... и недостаточно *мелодичная*». В то время как он говорил, пианистка и некоторые другие артисты одобрительно кивали.

«Но может быть, это только ваше личное мнение? — настаивал я. — Не восхищается ли большинство русских людей музыкой Прокофьева и Шостаковича?»

«Да, мы в самом деле... *восхищаемся* их музыкой, — ответил он, делая ударение на слове „восхищаемся“, — но ведь восхищаться и нравиться — это не одно и то же, не так ли?» — и он улыбнулся в оправдание.

«Большинство у нас, в России, — вмешалась девушка-лейтенант справа от меня, сказав *Россия* вместо обычного *Союз* (Union), — не любят слушать эту новую музыку. Когда я иду в концерт, я хочу слышать программу точно такого же типа, что мы слышали сегодня. Вы не думаете, что это был прекрасный концерт?»

Я часто слышал эти мнения, особенно в тех случаях, когда после выпивки и закуски советские люди, бывало, отбрасывали чопорность и забывали о присутствии иностранца или бдительных ушей моих «советских коллег» (O. N.'s). Позже, когда произошла музыкальная чистка и лучшие советские композиторы были публично выпороты мистером Ждановым, я вспомнил мнения средних, полуобразованных русских, которые я слышал в Берлине, Лейпциге, Дрездене. Мне пришло на ум, как сильно их точка зрения соответствовала таковой Политбюро и Сталина или, скорее, как близко их вкусы и мнения в отношении музыки (представленные в постановлении Центрального Комитета Коммунистической партии) отражали невероятно устарелые провинциальные и ограниченные вкусы нового необразованного среднего слоя советского общества.

## ПРОБЕЛ В ТЕКСТЕ

Но главная цель моего приезда в Берлин и работы в штабе генерала Макклурра имела мало общего с пересчетом калорий немецких тромбонистов или с наблюдением за русскими вкусами в музыке. Моя задача была другой и на первый взгляд казалась простой и неотложной. Ожидалось, что я найду (или, скорее, выслежу) тех русских в советской администрации, чья задача была такой же, как у генерала Макклурра, то есть контроль немецкой прессы, публикаций, радио, фильмов, театра и музыки. После нахождения неуступчивых субъектов я был обязан убеждать их в неотложной необходимости и всеобщей полезности учреждения Четырехстороннего управления информационного контроля, совместно с англичанами, французами и американцами. Такое управление затем было бы принято как тринадцатое или четырнадцатое дитя счастливой военной семьи, названной Союзной контрольной комиссией.

Эта задача, которая казалась такой простой и определенной, оказалась запутанной, сложной и бесконечно трудной. Если бы это не представляло интереса для меня самого, я бы отделался от нее, я бы сдался через две недели после прибытия в Берлин. Поначалу мои трудности при разбирательстве в структуре советской во-

енной бюрократии в Берлине казались обычными. Она представлялась просто другой формой пентагональной тайны (pentagonal mystery), с которой я сталкивался в нашей собственной бюрократии<sup>32</sup>. Из опыта я знал, что в тайны бюрократии следует проникать постепенно и что техника проникновения должна быть основана на (а) упорстве, (б) постоянном давлении на источники информации и (в) везении.

Первым делом я повидел человека по фамилии Беспалов, который предположительно контролировал немецкую прессу и который, я надеялся, просветил бы меня и обсудил бы это дело со мной. Он был холоден, вежлив и необщителен. Он много улыбался стальными зубами и пригласил меня выпить водки и закусить красной икрой. Затем я отправился на встречу с человеком по фамилии Филиппов, который оказался невысоким, незаметным, незначительным созданием в голубом шерстяном кителе МВД, типичным советским *чиновником* (рус.) (рутинным бюрократом) любезного типа. Он был несколько более разговорчивым и, хотя у него не было икры для угощения, набросал мне план Советской военной администрации и таким образом дал мне первый ключ для решения моей задачи. Он оказался цензором немецких газет, и когда я покинул его, то увидел несколько седых напыщенных немцев в его комнате для ожидания, на их лицах читалось выражение ушной боли или желудочных спазмов. Следующим в этой цепочке был редактор официальной советской ежедневной газеты на немецком языке *Tägliche Rundschau* (*Tagliche Rundschau*) (*Ежедневное обозрение*, нем.), полковник Кирсанов. Он был обходительным, холодным и вежливым. Он пригласил меня на ленч с паюсной икрой и пытался разубедить меня продолжать мои поиски. Я покинул его, не убежденный его аргументами, добрался в автомобиле до самой дальней окраины Карлсхорста и там, на обшарпанной вилле, около картофельного поля, встретил профессора Игнатъева. Это был старый, робкий и поджарый человек, который выглядел ужасно напуганным моим визитом. Он не знал ничего. Он объяснил, что имеет дело только с контролем музыки и что теперь собирается уехать в отпуск в Москву. Пока он говорил, он заворачивал круто сваренные яйца в газету. «Понимаете, я собираюсь в Москву поездом, — сказал он, — а это занимает пять долгих дней».

И так, от Беспалова к Филиппову, от Кирсанова к Игнатъеву и от *—окева к—енко*, от *—енко к—адкину*, от *—адкина к—ому*, я ходил вновь и вновь в течение двух недель. В итоге я узнал очень мало. Я узнал, что у русских нет организации, подобной нашим организациям, и что они не хотят сотрудничать с нами ни в какой форме и ни в каком деле. Я также узнал, что всех русских бюрократов можно разделить по икорной иерархии: на самом верху располагаются русские со свежей икрой, ниже них русские с паюсной икрой, далее русские с красной икрой и, наконец, обширное количество русских без икры.

Однажды, после почти двух месяцев бесплодных усилий, неразговорчивый полковник Кирсанов дал мне намек. Он сообщил, что из Москвы прибыли две важные персоны и что они должны были реорганизовать информационную контрольную бюрократию Советской военной администрации. Он обещал представить меня прибывшим в августе людям на приеме, который давал маршал Жуков и на который были приглашены все наши генералы и полковники.

7 ноября нашего генерала не было в городе, поэтому один из его друзей, американский полковник, и я взяли его приглашение и поехали на прием. Хотя это был мой первый визит на официальное советское собрание уровня наисвежайшей икры и хотя на этом приеме было полным-полно маршалов, генералов, бригадных генералов, полковников, поросенков, индеек, гусей, оленины, уток, осетрины, семги

<sup>32</sup> Можно предположить, что pentagonal mystery относится к некоей «тайне» Пентагона, пятиугольного здания, где расположено Министерство обороны США.

и паштетов из гусиной печенки, на меня все это не произвело подавляющего впечатления, поскольку я уже слышал слишком много подробных описаний таких приемов и потому что я разыскивал полковника Кирсанова и людей, прибывших из Москвы. Через час после нашего прибытия как хозяева, так и гости опьянели и расшумелись. Единственными, кто оставался трезвым, были угрюмые охранники МВД, стоявшие у дверей и смотревшие вниз, на толпу, с балкона, расположенного под верхним рядом окон. Я нигде не мог найти Кирсанова и начал думать, что его намек был одним из тех хитростей и отговорок, к которым я привык в Берлине. Отчаявшись, я прошел сквозь все залы дворца Короны принца (Crown Prince's Palace), где проходил прием. Я обследовал каждый угол, осмотрел каждую группу багровых, возбужденных лиц. Его нигде не было. Мой полковник-компаньон (из числа непьющих) предложил мне уйти.

«Бесполезно, — сказал он. — Ваш полковник применил один из своих обычных фокусов». Мы направились к выходу. Перед дворцом, повернувшись спиной к его входу, три русских генерала молча приходили в себя. Я забыл свое пальто и пошел назад, в гардероб. Там, помогая кому-то снять меховое пальто, я узнал полковника Кирсанова. Он повернулся и сказал: «А, Николай Дмитриевич, он здесь! Это полковник Тюльпанов, а это, — он указал на другую фигуру, стоящую позади, — это генерал Боков». Генерал показался мне типичным, словно с витрины, русским генералом: коренастым, невысоким, круглолицым. Полковник был другим. Его лицо, манеры, весь внешний вид сразу же привлекли мое внимание. Он был лысым, или, точнее, его голова была чисто выбрита, бросались в глаза большие выдающиеся уши. Голова, похожая на огромный бильярдный шар, почти без шеи, располагалась на небольшом, крепко сбитом теле. У него были монголоидные черты лица, но не более ярко выраженные, чем черты большинства крестьян Центральной России. Глаза напоминали узкие щелки, у него были выступающие скулы, плоский, слегка вздернутый нос. Когда он улыбался, как он это сделал, приветствуя меня, его глаза приобрели осторожное и отчасти хитрое выражение. Он приветствовал меня одновременно вежливо и сдержанно, натянуто и дружественно. Меня удивило отсутствие рядов медалей на его выглядевшем поношенном мундире цвета хаки — только одна или две наградных планки (*little patches of ribbon*), рядом с которыми свободно висела красная звездочка<sup>33</sup>.

Я не знал, что сказать и как начать разговор, но он помог мне: «Вы же не собираетесь покинуть так рано, — сказал он, — такую... веселую вечеринку?» — и его глаза прищурились. Я ответил, что мне приходится, но я очень сожалею, потому что я так сильно и так долго надеялся увидеть его.

«Но может быть, я мог бы позвонить вам... завтра, — сказал я, — и заодно передать вам приглашение от моего начальника, генерала Макклера?»<sup>34</sup>

«Ну... ну, — начал он, — не завтра. Завтра мы будем отдыхать и приходиться в себя, — и он взглянул на Кирсанова и засмеялся. — Кроме того, генерал Боков и я только что прибыли и... — продолжил он, предупреждая любые дальнейшие вопросы. — Я не знаю *ничего* относительно тех дел, о которых вы хотите говорить со мной. Лучше позвоните мне через несколько дней. Полковник Кирсанов знает мой номер. Он даст его вам».

<sup>33</sup> Судя по биографии С. И. Тюльпанова, кроме орденов Отечественной войны, он был награжден орденом Красной Звезды, который, видимо, и заметил автор, и орденом Красного Знамени, а также медалями.

<sup>34</sup> Роберт Макклур (1897–1957) — после окончания войны в Европе был ответственным за Информационное контрольное управление, которое контролировало радиопередачи и газеты в Германии на ранней стадии оккупации.

«Позвоните мне завтра», — сказал полковник Кирсанов, когда вся группа двинулась в сторону вечеринки.

Я почуствовал ликование, как если бы после долгих дней бесплодной рыбалки вытаскивал из темного, покрытого слизью пруда жирного, золотого карпа. «Теперь, — думал я, — дела прояснятся, и мы сможем, пожалуй, найти путь к...» — я не знал, как закончить свою мысль.

Он, несомненно, был одним из карпов, и притом жирным, как мы вскоре постепенно выяснили. В самом деле, можно сказать, что он был призовым карпом Советской военной администрации (Германии — СВАГ), но он не был на моей леске... и до того пруда, в котором он плавал, мне было не так легко добраться. Тюльпан (*Tulip*, англ.), как мои английские коллеги окрестили его, когда выяснили происхождение его фамилии, был выдающимся координатором и принадлежал к той прослойке советской иерархии, которая характеризовалась наисвежайшей икрой.

По образованию и официальной профессии полковник Сергей Иванович Тюльпанов (теперь — генерал-майор) был инженером. Он происходил из семьи великорусских крестьян, из деревни где-то в окрестностях города Калинина. Один из его референтов говорил мне, что он присоединился к революционному движению в очень молодом возрасте. В любом случае, когда революция 1917 года сбросила царский режим, он вскоре стал членом ленинского крыла социал-демократической партии. Будучи студентом Санкт-Петербургского университета (или Технического института Санкт-Петербурга), он установил тесные и дружеские отношения с покойным Александром Ждановым (которому в дальнейшем предстояло стать партийным вождем и создателем Коминформа)<sup>35</sup>. Он тяжело и успешно воевал в Гражданскую войну в 1919–1921 годах и, по всей видимости, в те годы установил постоянную связь с ЧК, предшественницей МВД. Пережив все разбирательства и чистки, он медленно поднимался по властной лестнице, приобретая все большее значение, в основном благодаря своей дружбе со Ждановым. Официально он занимал безобидные посты, сначала как инструктор, позже как профессор машиностроения в Технологическом институте Ленинграда. Согласно немецким источникам, Тюльпанов посетил Германию в середине или в конце двадцатых годов, изучил немецкий язык и много путешествовал по всей Германии. Предположительно, в те годы он установил тесный контакт между советским ОГПУ и организацией безопасности Германской коммунистической партии. Во время войны он принимал участие в обороне Ленинграда и, как говорят, участвовал в организации ледовой дороги через Ладожское озеро, которая спасла город от полной гибели от голода. Тюльпанов был логичным выбором Жданова для работы в качестве шефа Агитпропа (Администрации агитации и пропаганды) для Германии. Он и другой друг Жданова, генерал Боков<sup>36</sup>, прибыли в Берлин, чтобы стать пропагандистскими партийными организаторами Германии и в то же время глазами и ушами Политбюро в СВАГ<sup>37</sup>.

Но в то время все эти детали были нам неизвестны. Только постепенно мы действительно пришли к пониманию важности Тюльпана. Для нас в ноябре 1945 года он был просто очередным советским полковником, который был послан в Бер-

<sup>35</sup> Ошибка автора. Правильно: Андрей Александрович Жданов (1896–1948). Агентство Коминформ создано в 1947 году под руководством Андрея Александровича Жданова.

<sup>36</sup> Боков Федор Ефимович (1903–1984), в 1945–1946 — член Военного совета Группы советских войск в Германии по делам Советской Военной администрации.

<sup>37</sup> Доступные сведения о С. И. Тюльпанове деталями отличаются от приведенных автором. Сергей Иванович Тюльпанов (1901–1984) — советский генерал и ученый-экономист. Начальник управления пропаганды Советской военной администрации в Германии (1945–1949), генерал-майор (1949), доктор экономических наук.

лин для наведения некоторого порядка в дезорганизованном советском контроле информационной среды и, как мы надеялись, для того, чтобы прийти к соглашению с нами и начать сотрудничество в нашей предполагаемой организации — Четырехстороннем управлении информационного контроля.

Хотя я получил номер телефона Тюльпана, я не мог застать его. На другом конце провода или не реагировали вообще, или после бесконечных звонков вежливый голос обычно отвечал: «Я слушаю вас...»

«Можно полковника Тюльпанова?»

«Нет... он вышел», — и трубку обычно бросали.

Наконец я решил пойти в советскую штаб-квартиру и лично найти Тюльпанова. После огромного количества хождений по разного рода лабиринтам, настойчивых требований, упорства, терпения и пренебрежения насмешками я наконец-то выследил его и договорился с ним о встрече. Он приветствовал меня как старого друга, извинился за «ужасную занятость» и обещал позвонить «на следующей неделе» генералу Макклуру. Он также объяснил, что отныне в обязанности его новой службы, Службы пропаганды СВАГ, будет входить контроль, с советской стороны, всех средств массовой информации, которые перешли под контроль генерала Макклура. «Следующая неделя», что достаточно удивительно, наступила через десять дней. Он позвонил генералу Макклуру и его двум помощникам и согласился встретиться с ним и английским и французским руководителями Информационного контроля на «неформальной» основе, чтобы обсудить «точки общего интереса».

В течение следующих трех или четырех месяцев наше разочарование, вопреки ожиданиям, только усиливалось. Мы регулярно встречались на так называемых «неформальных» заседаниях «неформального» комитета, чтобы «неформально» обсуждать наше «неформальное» дело. Решения такой незначительной организации не могли ни обладать юридической силой, ни иметь вообще какой-либо ценности. Тюльпан приходил на большинство этих встреч и даже провел одну из них как «хозяин» (никакой икры!); но когда его английский или американский коллега спрашивал, когда мы были бы готовы отбросить этот балласт «неформальности», его ответ обычно гласил: «Я ожидаю новых директив от моего правительства».

В продолжение этого времени я узнал его достаточно хорошо, мне казалось, что он начал проявлять интерес ко мне, а может быть, даже и симпатию. Он, бывало, приглашал меня навестить его в штаб-квартире или в своем доме в окрестностях Вайсензее<sup>38</sup>, где были расположены виллы крупных начальников СВАГ. При каждой возможности для частного разговора он, как правило, расспрашивал меня. Где я жил до революции? Кем были мои родители? Был ли я родственником Владимиру Набокову<sup>39</sup>, русскому либеральному лидеру? Знал ли я советских музыкантов? Знал ли я Прокофьева? Когда я был последний раз в России?

Он всегда тщательно следил за тем, чтобы его вопросы не казались слишком откровенными и не противоречили бы характеру всего разговора. Я знал, что мое «положение» в Военном правительстве Соединенных Штатов было не совсем ясным для советских начальников. Благодаря слухам нашей разведки я был информирован о том, что у иерархически мыслящей СВАГ было преувеличенное мнение о моей важности. Поэтому я понимал, что «вопросы» Тюльпана и его интерес ко мне озна-

<sup>38</sup> Вайсензее — округ в северо-восточном районе Берлина.

<sup>39</sup> Владимир Дмитриевич Набоков (1876–1922) — юрист, один из лидеров партии кадетов, отец писателя В. В. Набокова.

чали, что он хотел выяснить, кем я был, чем я занимался и каковы были мои реальные обязанности.

Генерал Макклур давил на меня с тем, чтобы заставить Тюльпана прийти и провести с ним «спокойный» обед на его вилле в Ванзее<sup>40</sup> (американская версия русского Вайсензее: Wannsee, Weissensee). Исходя из старой доброй американской манеры, он думал, что для того, чтобы добиться успеха в деле с непокладистым человеком, нужно пригласить его на вечеринку, перед обедом выпить парочку martinis (водка тоже подошла бы), затем плотно поесть, затем еще раз выпить и в процессе всего этого решить некоторые «взаимно выгодные» дела. Тюльпан в конце концов, после многочисленных наших обращений, принял приглашение генерала. Но будучи занятым (он организовывал восточногерманские профсоюзы и содействовал образованию Единой социалистической партии Германии) и к тому же «забывчивым» человеком из другого мира, где неучтивость является законом, он или очень удачно, или преднамеренно «забыл» об обеде у нашего генерала и в назначенный час не явился.

Я сидел в своем офисе, ожидая его прибытия. Было условлено, что я провожу его от нашей штаб-квартиры к дому генерала. Прошел назначенный час — шесть тридцать. Мой телефон звонил каждые пять минут. Генерал был у телефона, становясь злее с каждой минутой. Я и мой коллега работали с двумя телефонами, набирая по очереди советский номер, который мы знали. Отовсюду приходил один и тот же угрюмый ответ: «Я слушаю вас ...»

«Здесь полковник Тюльпанов?»

«Нет, он вышел».

Пока продолжался этот разочаровывающий и абсурдный поиск, перед моими глазами маячила картина: генеральское martini разжижается во льду, жаркое пересыхает в печи, суп становится непрозрачным и салат вянет. Наконец в восемь часов вечера мы отыскали майора Дымшица и, перебивая друг друга, дали ему понять, что мы ставим ему своего рода ультиматум: «Если полковник Тюльпанов не собирается прийти, то ...» и т. д. и т. д. Достаточно удивительно (и я до сих пор не могу понять почему) это сработало. Десять минут спустя полковник позвонил мне. «Но я думал, что эта встреча будет восемнадцатого, а сегодня шестнадцатое», — сказал он невозмутимым тоном. Я сухо ответил, что у него на столе должно быть «напоминание», которое было послано ему два дня назад. «Ну (рус.)... хорошо, — сказал он, — если не слишком поздно и я не потревожу *господина* (рус.) Макклура, я приду». Спустя полчаса он прибыл в мой офис в длинной шинели и в *papahe* (рус.) — высокой серой астраханской меховой шапке кавалеристов-казаков. Он улыбнулся с хитрецой и сказал: «Ну, Николай Димитриевич, *пойдем* (рус.). Я ужасно извиняюсь, но, уверяю вас, думал, что было назначено на восемнадцатое. Надеюсь, ваш генерал простит меня».

Первая часть обеда прошла очень натянуто, и все мои предвидения относительно martini, супа, жаркого и салата оправдались. Генералу Макклуру потребовалось некоторое время для того, чтобы справиться с раздражением и обрести хорошее настроение. Тюльпан со своей стороны был само очарование. Он рассказывал о войне, о своих ранениях во время обороны Ленинграда и о том, как немцы были разбиты в сражении на Дону. Он спросил генерала о высадке в Нормандии (тема, которая ни одного американского генерала не могла оставить равнодушным) и об освобождении Парижа, и... когда обед был закончен, генеральское раздражение растаяло. Однако никакое дело не обсуждалось, и не оставалось даже проблеска надежды, что это обсуждение состоится.

<sup>40</sup> Ванзее — юго-западная часть Берлина.

Когда мы встали из-за стола и пошли в гостиную, Тюльпанов, указывая на пианино в углу комнаты, повернулся ко мне и сказал: «А теперь вы попались! Садитесь и начинайте играть». И он повернулся к генералу: «*Господин* (рус.) генерал, пожалуйста, прикажите ему играть». У меня было чувство, что генерал понял, что игра проиграна. Поэтому я сыграл любимые цыганские песни генерала, а затем Тюльпан начал петь новые советские песни, и генерал велел мне записывать слова; но Тюльпан хотел, чтобы я аккомпанировал его пению, и поэтому каждый раз, когда я начинал записывать слова, он запевал другую песню, и мне приходилось снова бить по клавишам, а затем я выпил виски с содой и повторил. Песни становились громче и громче, я ударял сильнее и сильнее по клавишам ... аккомпанируя Тюльпану... и затем...

Было темно, когда мы устроились в большом черном «хорьхе» Тюльпана. «Где вы живете? Я доведу вас», — сказал он. Я назвал шоферу мой адрес, и машина поехала, подпрыгивая по разъезженной узкой дороге. Тюльпан некоторое время продолжал напевать последнюю песню. Затем он остановился, и мне показалось, что в темноте машины его глаза наблюдали за мной, смотрели на меня, осматривая меня всего. «Ну, вот мы здесь, — начал он низким, медленным голосом. — Вы русский, и я русский. Только вы... — и он остановился на мгновение, словно подыскивая слова. Вы... в этой странной форме, а я... я ношу нашу старую русскую казачью *папаху* (рус.) и погоны великой русской армии». Он замолчал, как бы ожидая, что я скажу что-нибудь, но я ничего не говорил. «Ни-ко-лай Ди-ми-три-е-вич На-бо-ков, — продолжал он, произнося тщательно каждый слог моего имени. — На-бо-ков — какое хорошо звучащее старое русское имя. И вы здесь ... в *такой* форме».

Я внезапно почувствовал, что мне придется что-то сказать, но у меня не было каких-то простых, определенных и верных слов. «В этой форме, — сказал я, — вы не можете ничего со мной сделать. Если бы на мне не было сейчас этой формы... если бы я оставался *там*, мне бы не нужна была никакая форма. Я был бы мертв. Я бы...»

Он засмеялся тихо, с хитрецей. «У всех у вас, *emigres* (эмигрантов, фр.), — он заметил поучительным, покровительственным тоном с едва заметным оттенком презрения, — у всех у вас засело обманчивое, искаженное представление о нашей Родине. Вы думаете в терминах 1918—1919 годов, но мы ушли вперед, в России родился новый мир. Революция диалектически стала ушедшим процессом истории. Двери опять открыты для *всех* русских *везде*». И снова я почувствовал, как его глаза осмотрели меня с ног до головы, как бы искушая меня: «Человек с именем, подобным Набокову, нашел бы себя в России, работая, усиленно трудясь для новой жизни, для будущего. Вы ведь музыкант, не так ли? Композитор?» И он остановился, ожидая моего ответа. Но я не мог говорить, мне было нечего сказать.

«Нам нужны в России композиторы, — продолжал он, — а вы знаете, что произошло по всей России? Во многих местах возникли новые города, в каждом из них — новый университет, и *техникум* (рус.), и консерватория. Я видел несколько таких удивительных городов в Сибири. Они были построены красными пионерами, во время летних каникул. — Тон его голоса начал смягчаться. Он стал эмоциональным и лирическим. — В середине такого города расположен завод, скажем, тракторный завод, а вокруг него чистые, опрятные жилые помещения для рабочих. Весь город живет для завода. Весь город гордится этим заводом и ревностно следит за статистикой роста его производства. Когда усталый отец приходит домой с дневной работы на заводе, его дети прыгают вокруг него и кричат: „Скажи нам, скажи, папа, как высока сегодняшняя выработка?“»

Автомобиль остановился, шофер опустил стекло и спросил, что делать. Я сказал ему, где повернуть, и предложил сесть рядом с ним и указать, как проехать к моей

квартире. Нет, сказал Тюльпан, он сам найдет дорогу, и я снова плюхнулся на свое сиденье. «Да, Николай Дмитриевич Набоков, — начал Тюльпан, подхватывая нить своего разговора с того места, где он оставил ее, — человеку с вашим именем и с вашим умом следует носить *нашу* форму или преподавать в *наших* школах или в *наших* консерваториях. Нам нужны люди, подобные вам. Конечно, — продолжал он, и опять я почувствовал презрение, так хорошо скрытое спокойным, отеческим тоном, — конечно, вы не могли бы надеяться найти сразу место преподавателя в Москве или Ленинграде, или даже в Харькове или в Киеве, но... но в одном из новых сибирских городов... там... вы бы нашли хорошее место для жизни, для преподавания и для работы».

Я подождал, пока автомобиль остановился перед моим домом и шофер вышел и открыл дверцу. При бледном свете фары я взглянул на Тюльпана. Я увидел его голый, бритый лоб, выступающие уши и хитрые, лисьи глаза. Он смотрел на меня, улыбаясь, смеясь, полный наглой насмешки и презрения. «Благодарю вас, Сергей Иванович, — сказал я спокойно и медленно, — но я предпочитаю климат Нью-Йорка», — и закрыл дверцу автомобиля.

Когда я на цыпочках поднялся в свою комнату, то услышал спокойное храпение полковника Никольсона. «Слава богу», — сказал я и немедленно лег в постель.

Предисловие, подготовка текста и публикация  
**Е. Б. БЕЛОДУБРОВСКОГО**

Перевод с английского и примечания **М. А. ЯМЩИКОВА**